
Александр ЛЕПЕЩЕНКО

ФАТАЛИСТ

Повесть

1

«Вот что у меня за работа? — ежился следователь Сущий. — Проклятая, „хлопающая немилосердно по совести...“ Отвратительная хотя бы тем, что я постоянно слышу в себе этот вопрос... Я живу один и живу, как юридивый... Благо бы еще Порфирием Петровичем был, так нет же... Я — Константин Иванович... Константин Иванович, и точка...»

Надо заметить, о хрестоматийном следователе Сущий думал много. Оно и понятно — род занятий, общность интересов, опять же холостяковство не могли не сблизать Константина Ивановича с Порфирием Петровичем. Сблизало даже то, что квартиры у обоих содержались на «казенный кошт». Но тут общее и заканчивалось. Романый следователь, а вернее, пристав следственных дел был противоположностью Сущего. Ну, не похож, так не похож! Ну, ни черточкой! Мы ведь помним «славного парня» Порфирия: «Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке...» Так вот Сущий, в отличие от Порфирия, был натурально «барбудос», то есть бородач. Бороду носил большую, ассирийскую. А густые черные с проседью волосы — на древнерусский манер — с пробором посредине. А поскольку был он еще и близорук, то носил и очки. Такие же большие, как он сам. Право, он и походил на церковного старосту или певчего, а вовсе не следователя. Все дело, конечно, заключалось в бороде, которая дико добавляла возраста, оборачивая его сорок в пятьдесят. Сбрей он ее, и явился бы весьма симпатичный и молодежавый человек с невозмутимыми глазами. О таком бы, пожалуй, говорили — «самовитый, рясный». Ведь он и впрямь был довольно высок, большеголов, хотя и несколько медвежеват. Грудь имел широкую, поместительную, как колокольня. Голос в ней хоронился значительный. Услышишь его и — уже не забудешь никогда!

Права, а вот права Константин Иванович Сущий был замечательного, не злобливого. Никого со свету не сживывал. Впрочем, часто сбивал с толку неожиданными обострениями в разговоре. Только кто-то разглядит в нем этакого простака, ан нет, извольте

Александр Анатольевич Лепещенко родился в 1977 году. Окончил факультет журналистики Волгоградского государственного университета. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России, главный редактор литературного журнала «Отчий край». Лауреат премии имени Виктора Канунникова (2008), лауреат Международного литературного форума «Золотой витязь» (2016 и 2018), лауреат Южно-Уральской международной литературной премии (2017), победитель Международного конкурса короткого рассказа «На пути к гармонии» (2018) и «В лабиринте метаморфоз» (2019), дипломант литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина (2019), финалист Национальной литературной премии имени В. Г. Распутина (2020). Автор четырех книг прозы. Публиковался в литературных журналах «Московский вестник», «Нева», «Литература», «Российский колокол», «Приокские зори», «Истоки», «Волга XXI век», «Образ», «9Муз» (Греция), «Камертон», «Перископ» и др. Живет в Волгограде.

посторониться! Трамвай идет! Ну, то есть так давит, так давит неудобными вопросами. Многих, надо признать, это корбило. Но Сущему было, видимо, на руку. Дела с бездельцем не смешивал. Ведь дела сами не ходят: их вести надо. Вот и вел, «под сукно не клал». По обыкновению своему, все до дела относящееся записывал на диктофон. При этом всякий раз справлялся: «Надеюсь, вас диктофон не смущает?» Действовало безотказно: некоторые думали: «Следователь — либерал, ищет расположения». И на сей счет, конечно, ошибались. Никаким либералом Сущий не был, напротив, зачастую тиранствовал немилосердно. Правда, совестился. Клял работу, а прокляв, с воодушевлением продолжал делать вновь. Не исключено, что труды и дни свои Константин Иванович закончил бы подобно судье Уоргрейву из «Десяти негрятя». А именно: свершил бы «истинное правосудие» — в том числе и над самим собой — причем по точно задуманному плану. А впрочем, убийцей бы этот пусть и «поконченный» человек стать все-таки не смог бы. А значит, и нечего на него наговаривать. Клеветы клеветать.

Но вот отчего он холостяковал, наверное, узнать было бы все же небезынтересно. Константин Иванович хотя и отшучивался, что «для жены нет великого человека», но не женился совсем по другой причине. Посудите сами: ну, разве мог такой человек, как Сущий, заботиться о благолепии? Однозначно не мог. Тогда почему не женился? Болен был чем? Это ведь сейчас сплошь и рядом. А впрочем, фрейдизм и прочую медицину придется отринуть. Поскольку все не то. А то, что то, осталось лишь в памяти Сущего да в материалах уголовного дела, возбужденного семнадцать лет назад по факту изнасилования и жестокого убийства некоей Марьи Усковой. Так вот, она, эта Ускова, была студенткой филфака, однокурсницей, смешливой и милой невестой Константина Сущего. Преступление так и не раскрыли. Сущий запил, бросил учебу, и его сгрябчили в армию, ну а когда отпустили на все четыре стороны, то восстанавливаться в пединституте он не пожелал. Напротив, удивив знакомых и друзей, поступил учиться на следователя. А вскоре и вовсе раззнакомился со всеми. Как бы удалился в пустыню.

Чудесить он и после не перестал.

Вздумал, проведя два года без малого в «пустыне» своей, отправиться в Санкт-Петербург и найти дом 19/5 по улице Гражданской — его, этот дом, сделал знаменитым Достоевский, поселив в каморку под самой кровлей главного героя «Преступления и наказания». Согласитесь, весьма странное желание для молодого человека, состоящее, собственно, лишь в том, чтобы подняться «по лестнице к Роде» и прочитать все тамошние надписи. Лестница эта с мрачными, низко нависшими сводами. Много копоти и следов подтеков вокруг трещин на когда-то беленых потолках. Только вот Сущему было плевать. Он поднялся по выщербленным ступеням на четвертый этаж, дивясь своеобычной книге отзывов фэн-клуба Родиона Раскольникова: «Я знаю, что ты был», «Родя, позвони!», «Родя, мы с тобой и твоим топором». Ну и так далее и так далее. Словом, поднялся, дивясь тому множеству надписей, что пестрели на стенах. Нет, конечно, Сущий имел тут свою цель, только не предуведомлял о ней. А впрочем, и некого было, ведь к тому времени он всех уже вокруг раскидал и все прежние связи оборвал.

Однако чудачества его отнюдь не мешали главному. Следователем сделался он капитальным. Пожалуй, что и лучшим. Его давно бы забрали в следственное управление, но Константин Иванович противился, не хотел с «земли» уходить. В отделе поговаривали, что Сущий вознамерился найти того мизгиря, что несчастную его невесту сгубил. Наверное, впрочем, никто из сослуживцев не сказал бы. Ведь Сущий не допускал, чтобы душу его распоротую растягивали на стороны да заглядывали, любопытствуя.

А любопытствовать все же хотелось. И потому кое-что сослуживцы знали наверное. Что? Ну, вот хотя бы о квартире Сущего... Квартира его казеннокоштная мало

чем отличалась от рабочего кабинета: на стенах, обклеенных желтыми линияльными обоями, фотографии из расследуемых дел, изображения схем, лишь ему одному ведомых, а еще исписанные листочки — «с помарками и кошачьим почерком». На книжных полках и допотопном телевизоре, который он даже не включал, на кухонном столе и прикроватной тумбочке — словом, везде, где возможно, — гнездились кассеты с аудиозаписями. Откуда Сущий эти кассеты доставал — загадка, поскольку такие уже и не производились, в продажу не поступали.

На антресолях у него тоже, кстати, были кассеты. Когда-то Сущий сунул их в коробку вместе со всеми материалами, касаемыми сестер Вилкас. Да, тех самых, что «в аффекте безумства и помешательства» зарезали собственного родителя. И теперь, после продолжительного разговора с молодым учителем Алексеем Гореликовым, бывшим одноклассником и, кажется, воздыхателем одной из сестер, коробка эта очень уж Константину Ивановичу понадобилась. Ведь он выяснял обстоятельства смерти Владимира Николаевича Соколова или попросту Владимира Необходимовича, у которого и Гореликов, и Вилкас раньше учились. Особо же следователь интересовался психологическим портретом покойного. И резон был! Вкупе с дневником, оставшимся от Соколова, свидетельства его воспоминателей могли бы устранить многие белые пятна. Многие, но не все. И Константин Иванович все более и более убеждался в этом. Он выудил из коробки аудиокассету и вставил в диктофон.

Шикнула запись:

— Сейчас, Эмма, ты должна хорошенько подумать... Я хочу спросить не о твоём отце...

— Тогда о чем?

— О ком. Так точнее.

— Спрашивайте, Константин Иванович.

— Соколов, твой учитель... Какова его роль во всей этой истории?

— Владимир Николаич хотел поговорить с отцом, ну образумить его, что ли... Да вот не успел... Мы с сестрами сами «образумили»...

— А какой он, этот Соколов?

— Забавный.

— Можешь пояснить?

— Попробую... Он ведь знаток анекдотов. Ну, литературных, конечно... От Хармса... Не слышали никогда?

— Не слышал, но ты расскажи.

— Рассказать? Здесь?

— Ну а что, собственно, смущает? Допросная?

— Ладно, хорошо! Э-э, однажды Гоголь написал роман. Сатирический. Про одного хорошего человека, попавшего в лагерь на Колыму. Начальника лагеря зовут Николай Павлович (намек на царя). И вот он с помощью уголовников травит этого хорошего человека и доводит его до смерти. Гоголь назвал роман «Герой нашего времени». Подписался: «Пушкин». И отнес Тургеневу, чтобы напечатать в журнале. Тургенев был человек робкий. Он прочитал рукопись и покрылся холодным потом. Решил скорее ее отредактировать. И отредактировал. Место действия перенес на Кавказ. Заключенного заменил офицером. Вместо уголовников у него стали красивые девушки, и не они обижают героя, а он их. Николая Павловича он переименовал в Максима Максимовича. Зачеркнул «Пушкин» и написал «Лермонтов». Поскорее отправил рукопись в редакцию, отер холодный пот со лба и лег спать. Вдруг среди сладкого сна его пронзила кошмарная мысль. Название. Название-то он не изменил! Тут же, почти не одеваясь, он уехал в Баден-Баден.

- Гм, ну да, это действительно забавно...
- Вы находите, Константин Иванович?
- Нахожу... А вот растолкуй мне, Эмма, как же так вышло, что Соколов не успел поговорить с твоим отцом?
- Я не хотела. Соколов настаивал, но я не хотела.
- Почему?
- Стыдно было... Стыдилась Владимира Николаича... Хотя и знала, что воспринимает он мою боль, как свою, и что непременно пойдет к отцу... Только вот стыдно это... Да и сестры боялись... Ну, что изобьет нас отец после разговора с учителем...
- Далее запись прерывалась.
- «Видимо, слезы заглушили последние слова Эммы, и я остановил допрос...» — сообразил Сущий.
- Голову снимает, будто казнимому, — пробормотал он, морщась. — Надо бы лечь.

...То ли капли дождя уже не стучали об окно, как камешки, то ли палач отошел от него, утомившись, но Константин Иванович разобрать уже не мог, он забылся. И оказался в весьма странном сне, где не было ничего, кроме единиц и нулей, сгруппированных в столбцы. Это все, естественно, что-то да означало, но что именно, Сущий не ведал. Впрочем, осознал, что следует для чего-то запомнить. Условившись с самим собой, что это «вокабулы» (он дал им такое название, поскольку иного не подвернулось), Константин Иванович стал учить их наизусть. И много в этом преуспел, затвердив таки все. И тотчас же засомневался, ну, что это вообще сон. Тронул глаза свои и в страхе-трепете открыл их. Только ничего не увидел. Как слепой. Потому и слух обострился: где-то хлебстало. «Дождь, — догадался Сущий, — на улице идет дождь... Наверное, холодный, ведь другого в апреле и быть не может... Или все-таки может? И что вообще такое этот дождь?»

Сущий поднялся с дивана и уставился в мрачную темень окна:

— Во темрява! Улица совсем промокла и не поет огнями...

Он никак не истолковал этот свой сон, не попытался найти ему объяснение. Нашарил выключатель и осветил оробевшую было комнату. И сразу стало теснее от большого тела Сущего, от его голоса, от его тени, затемнившей диван.

— Сколько же я провалялся? Минут сорок? Час? Э-э, плевать... головная боль отвязалась, и ладно...

Коробка с антресолей, громоздившаяся на столе, забирала внимание. Константин Иванович принялся выкладывать ее содержимое — какая-то идея, словно страсть, завладела вдруг им.

2

Жидкий звон в водосточной трубе превращался в сплошной напряженный гул. Гром встряхивал землю и, кажется, пугал серебристых ангелов дождя. Последние, остатные, снеги у подъезда делались зернистыми, ноздреватыми, оседали и чернели. Их съедал дождь. Сущий глядел в окно на свивавшиеся воедино струи и думал, что уже «почтенных берегов» не видно.

Стукотня дождя не только не мешала Константину Ивановичу, но даже помогала. Мешала, наоборот, тишина. Может, ему было легче переносить этот бесконечный дождь, чем тишину? Похоже на то. Когда дождило, ему всегда почему-то вспоминалась его погубленная невеста Маша, с которой они были «одинакового моря рыбы». Когда же обстигала тишина, он лишался воспоминаний, как родственников, и сиротел.

Если бы людей характеризовали одним каким-нибудь словом, ну, например, тот вон — «толстый», а этот — «тонкий», то Сущему подошло бы, конечно же, определение — «раненый». Ведь и впрямь «это было раненое сердце, раз и на всю жизнь».

Сегодня память подводила — с невестой он не увиделся, Маша на столе не лежала. Напротив, из подворотен его сознания выходили убийцы с одутловатыми лицами, их жертвы, ставшие после смерти похожими на них. Появились и сестры Вилкас, только уж не выглядевшие убийцами.

— Кира, Инга и Эмма, — проговорил раздумчиво Сущий. — Девочки, нанесшие дюжину ножевых ранений собственному отцу...

«Кто не желает смерти отца?» — ковырнуло Константина Ивановича.

Карамазовщина! Ну, куда без нее? Может, у сестер Вилкас и брат был? Незаконно-рожденный Смердяков? И тут следователь припомнил, что брат действительно фигурировал в деле. Родной их брат, двадцатидвухлетний Лев Вилкас, сбегший из дома, когда еще и пятнадцать ему не было. Ведь не могла уже матушка деточек, кровиночек своих, приголубить, жалкое слово молвить, а тем паче беду от них отвести, поскольку была снесена на погост. Несчастливая и дожила всего-то до сорока. Или срока? Да уж, кто-кто, а она отбыла его сполна! И отбыла в Мертвом доме, учрежденном супругом ее, Эдуардом Яновичем Вилкасом. Извергом, какого и свет не видывал.

После матушкиного ухода из жизни и братниного бегства из дома Кира, Инга и Эмма остались с извергом. А тому, тому что ребенка обидеть, что слепого — равно. Полновластие. Безудерж. И что поделаешь? Право, ну не могли же крошки девяти, восьми и семи лет воспоследовать за братом? Тот ведь и побойчее был, да и планом запаса — «перейти из одного мира в другой». Под переходом этим Лев разумел богатство. Да-да, богатство, в котором, опять же по разумению Льва, заключалась «возможность и в люди выйти, и сестер вызволить».

Какими сумрачными, пристально-пытливыми глазами тогда смотрел, как твердо сжимал зубы этот довольно плотный юноша, стриженный ежом. У него тогда уже было серьезное и недовольное лицо. И с таким вот лицом он в Москву от изверга сбег и к китайцам, что в обжорных рядах торговали, прибился. Китайцы эти оказались буддистами и кое-чему поучили его. Ну, например, что «тесна жизнь в доме, место нечистоты есть дом». Это Лев Вилкас безоговорочно принял, однако не согласился, что нужно «созерцать, а не самовыражаться». «Так богатства не приобретешь», — заключил он. Когда же думал о сестрицах, светлея лицом, мысль относилась к покойной матушке, всеми любящими любившей и его, и сестриц. Горестно-сумрачные глаза матушки он никогда не забывал. Сколько раз, глядя мысленно в глаза эти, клялся он, что не оставит милых своих девочек. И какая-то тончайшая нить лежала под сердцем его и оборвалась, когда узнал он о новом несчастье, постигшем их. Сестрицы вдруг под следствие из-за убийства родителя угодили. Лев взял, не раздумывая, у китайцев долю (созидел к тому времени он уже и долю) в общем деле и — в Волгоград. Деньги стал адвокатам совать, хлопотать, тогда-то с ним следователь Сущий и познакомился. Как, впрочем, и с учителем одной из девочек, Владимиром Необходимовичем.

И это было так, как оно было.

Когда Лев Вилкас покидал кабинет Константина Ивановича, он слегка задел входящего Владимира Необходимовича или, скорее, его драповое пальто капюшоном своей распахнутой армейской куртки (брюки и ботинки его тоже, впрочем, были армейские — по московской моде) и, усмехнувшись, сказал: «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном». Владимир Необходимович, как бы приветствуя, приподнял черную фетровую, с широкими полями шляпу и возвратил усмешку:

— Знакомство с биографией Лермонтова делает вам честь, молодой человек, только не выдавайте впредь его остроумие за собственное.

— Я ничего, я это...

— Вот именно: это и то... Не делайте мармеладовых глаз... Не спорьте с учителем...

Лев Вилкас спорить не стал, а предпочел ретироваться. Когда дверь за ним затворилась, Соколов улыбнулся и проговорил:

— Ну надо же, Лермонтовым интересуется...

Помолчал, подумал и продолжал:

— А впрочем, неудивительно... Как там у Розанова-то было? Ах, да... Им бесконечно интересовались при жизни и сейчас же после смерти... О жизни, скудной фактами, в сущности — прозаической, похожей на жизнь множества офицеров его времени, были собраны и записаны мельчайшие штрихи. И как он «вошел в комнату», какую сказал остроуту, как шалил, какие у него бывали глаза — о всем спрашивают, все ищут, все записывают, а читатели не устают об этом читать. Странное явление. Точно производят обыск (слово «обыск» Владимир Необходимович намеренно выделил голосом) в комнате, где что-то необыкновенное случилось. И отходят со словами: «Искали, все перерыли, но ничего не нашли».

— Да, да, я помню... — оживился следователь Сущий. — Там еще о Гоголе было... Ну, что эти слова без перемен можно отнести и к нему...

Соколов и вида не подал, что удивлен, лишь покосился на повестку с фамилией и именем следователя, вызвавшего его к себе.

— А вы помните, Константин Иваныч... — обратился он вдруг к Сущему, будто к закадычному приятелю, которому нужно передать поклон от общей знакомой. — Ну, помните ли вы, как философ Владимир Соловьев обвинил Лермонтова в «грехах» Саши Арбенина?

— А-а-а, героя неоконченной ранней повести Лермонтова... — уточнил Сущий. — Признаюсь, о тех «грехах» его я помню как-то смутно...

Владимир Необходимович бросил шляпу на стол:

— И нечего, пустое... Но Соловьев уцепился... Я своим ученикам об этом уже рассказывать начинал, но, каюсь, не все им тогда растолковал... Соловьев на чем стоял? Мол, в Лермонтове «с детства обнаружили черты злобы прямо демонической», что «в саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, осыпая ими дорожки». Ну а «взрослый Лермонтов совершенно так же вел себя относительно человеческого существования, особенно женского». Что это, забывчивость? Или Соловьев нарочно самого Лермонтова, рисующего характер Саши Арбенина, производит в демоны? Что из того, если даже Сашу он писал с себя, разве от этого меньше его нелюбимая правдивость, да и где тут, помилуйте, «демоническая злоба»?

— Ну да, да... — кивнул следователь, — видимо, хотелось Владимиру Соловьеву растоптать Лермонтова — и отрока, и взрослого. Потому и Мартынова, ничем не показавшего себя, в отличие от поэта, на Кавказской войне, он записывает в бравые...

Сущий едва не сломал карандаш, но подавив волнение, проговорил:

— Смел, ничего не скажешь, стрелять в упор в человека, про которого знал, что тот в него стрелять не будет... Только кто же он, Мартынов, тогда, как не убийца? И этот убийца, — Сущий в свою очередь выделил голосом слово «убийца», — разоблачителю демонизма философу Соловьеву уж куда как милее, нежели поэт Лермонтов...

Брови Соколова удивленно приподнялись:

— Ого, вижу, Константин Иваныч, мы из одних источников черпаем!

— Я уже ничего не черпаю... — помрачнел вдруг Сущий. — Так, схватил когда-то на филфаке... Вы знаете, зачем я вас пригласил?

— Предполагаю, — почувствовал какой-то недочет в настроении следователя Владимир Необходимович, — вам нужен ответ, почему я не встретился с Эдуардом Яновичем Вилкасом... Но у меня нет ответа...

— Охотно верю... И все-таки попробуйте сформулировать...

— Тогда я вынужден разоблачить себя... — в Соколове пробежала вдруг молниевидная мысль выложить все начистоту. — Признаюсь, намеревался прижать этого Вилкаса... Да, видного, пожалуй, а все-таки чем-то похожего на большую жабу... В общем, я вынюхал свидетеля, снявшего на видео, как негодяй мутузит свою средненькую... Киру... Видео это у меня, но я не успел им, к сожалению, воспользоваться. Могу передать следствию... Да-да, могу... Только вот имя свидетеля я вам не...

— Не назовете — не надо... Мир и от тугого толчка не тронется... Тем более что с Иваном Франсисовичем Гори-Пожаром мы уже побеседовали, он ведь соседствует с Вилкасом... Дверь в дверь, на одной площадке...

— Даже так?

— Даже так... Ну а насчет видео... Не трудитесь — оригинал у нас...

— Я могу идти? — сухо спросил Соколов.

— Да, конечно. Давайте ваш пропуск, я подпишу.

Суший расчеркнулся и добавил:

— Надеюсь, что мы еще поговорим... Мне бы этого хотелось... А вам?

Владимир Необходимович вперил взгляд в следователя и, выждав секунды две, ответил:

— Бог даст — поговорим...

3

Иван Франсисович Гори-Пожар, плотный, опрятный, с холодными глазами и при этом нервный, как трагический актер, предстал перед следователем. И у Сущего вдруг выкралось из памяти:

Слаб человек; покорствуя уделу,
Он рад искать покоя, — потому
Дам беспокойного я спутника ему:
Как бес, дразня его, пусть возбуждает
к делу...

— Позвольте полюбопытствовать, Иван Франсисович... Какой попутный ветер пригнал вас ко мне? В последнюю нашу встречу мы, кажется, все прояснили... Разве нет?

— Так, дело до вас... Я... я кое-что сообщить...

— Ватиканствуете?

У другого, возможно, речь и умерла бы на устах, но только не у Гори-Пожара, любившего сильные эффекты. Он даже вскинул перст указующий:

— До ватиканства ли, Константин Иванович? Полезным хочу быть... Об ином уж и не помышляю...

— О, за это признателен... Но обратимся к сути!

— А суть такая, — Гори-Пожар заговорщицки подмигнул следователю, — этот тип, ну, то есть Соколов, он садист... Я лишь теперь понял, что он такой же садист, как и покойничек сосед... Вилкас... Вы следите?

«Слежу, Гори-Пожар, ох слежу... Тебе бы еще меч картонный, чтобы взмахнуть...» — ковырнуло вдруг следователя, но сказал он другое:

- Да, но факты, факты?
- Будут, бесценный Константин Иванович, будут вам и факты... Когда Соколов получил от меня ту видеозапись, то он аж просиял...
- Положим... И что с того?
- Но как же? — изумился беспокойный посетитель. — Только садист обрадовался бы... Верно говорю...
- Позвольте, Иван Франсисович, но не вы ли давеча уверяли меня, что передали Соколову то видео, поскольку, я цитирую, «прониклись глубочайшим сочувствием учителя к несчастным девочкам?»
- Все так... Я не отрекаюсь, вы не подумайте...
- Суший мог бы тут, конечно, обрезать: «Кого ты, земляк, морочишь?» Но какой-то лукавый и дразнящий огонь мелькнул в его глазах:
- А скажите, Иван Франсисович, вы в славной пятьдесят четвертой школе трудились?
- На что... На что вы намекаете? — замашисто вырвалось у Гори-Пожара.
- «Чего расходился?» — подумалось следователю, и тотчас же, не обуздывая себя, он напал:
- Намекаю? Помилосердствуйте... Какие уж тут намеки... Я прямо спрашиваю: трудились вы в пятьдесят четвертой школе или нет?
- Я... я трудился там... Географом... Но... но это гнусная клевета, что я будто бы приставал к десятикласснице... Цокалка эта малолетняя нарочно осалила мою репутацию...
- Вот видите, на вас наклеветали... — отпустил неожиданно Суший. — Подозрение пало, и начальство поспешило с выводами... Мерами... Не так ли?.. А коли так, давайте же сами не будем спешить... Вдруг ошибка, и «этот тип, ну, то есть Соколов», никакой не садист...
- Да-да, верно, не будем спешить... Константин Иванович, я, это... Я, пожалуй, пойду...
- Не задерживаю, досточтимый Иван Франсисович... Ни минуты вас не задерживаю...

Спокойствие разрушилось.

Движение тоски выразилось на лице следователя.

Как только дверь за посетителем затворилась, он хватил кулаком по столу. Графин с водой извлек нехороший звук из стакана, карандаши разбежались в стороны, а из одного и вовсе вышло два.

— Сэр, который более знаком с законом, чем с честностью... — заключил Суший, внезапно побагровев и смахнув обломки карандаша на пол.

Следователь, впрочем, не заметил, куда они в конце концов делись, поскольку отлилось-вспомнилось:

«Не имею слишком большого влечения к обществу: надоело! — все люди, такая тоска, хоть бы черти для смеха попадались...»

Константин Иванович задумался — мысли ворочались безостановочно.

Перед глазами проходили бесчисленные люди, знакомые и незнакомые, он какое-то время напряженно вглядывался в их лица и наконец выговорил:

— Не попадают для смеха черти... А жаль!

И тотчас в голове у Сущего обрывок этой фразы начала разрастаться и отдаваться эхом: «Жаль... жаль...»

Голову, словно обручем, обхватило.

«Все люди, люди, а Человека нет... А впрочем, есть... Этот Владимир Николаевич... Как же он тогда сказал? Дай бог памяти... „Я вынужден разоблачить себя...“ И ведь —

разоблачил... Не лукавил... Не представлялся, что „ни блага в зле, ни зла в добре не видит...“ И все же, все же... Что я вообще о Соколове знаю? Только, что он сам позволил знать? Мне ли, коллегам... Да мало ли кому еще... Нет-нет, я кое-что ведь о нем понял... У него же „ангелы в сердце и «...мать» на устах...“ И выругается похабно, и на колени встанет... пред попом... И помолится... Такие умеют молиться... Не могут без молитвы, что ли... На таких вот и бывает „крест с мощами“. На Лермонтове его любимом он, кстати, был... Но что же Соколов? Как сделался таким?.. О, кажется, я знаю... Это „пришла на помощь болезнь“. Наверде кормч совести... И тогда, тогда... „он выучился думать“. Он и школяров своих тому же учит...»

Неожиданно в следователе что-то толкнулось, и мысль словно оперлась на костыль:

«Кажется, я догадываюсь, отчего он с Лермонтовым носится... Вряд ли тут гордыня... „Я — или Бог — или никто!..“ Это мог бы и Владимир Николаевич изречь... Есть в нем какое-то „предощущение того, что должно исполнить...“ По-моему, он чувствует Лермонтова так же, как Толстой его чувствовал... Э-э, надо бы у Русанова справиться...»

Подживев, Константин Иванович зашелестел кнопками ноутбука. В поисковике яндекса зачерпело: «Русанов. Слова Л. Н. Толстого».

Выскочило следующее:

Толстой стал говорить о Лермонтове:

— Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу, как власть имеющий. У него нет шуточек, — презрительно и с ударением сказал Толстой, — шуточки не трудно писать, но каждое слово его было словом человека, власть имеющего.

— Тургенев — литератор, — дальше говорил Толстой. — Пушкин тоже был им, Гончаров — еще больше литератор, чем Тургенев; Лермонтов и я — не литераторы...

Это удивительно. Это только сам Толстой имел право так сказать о себе и о других. Всякого другого, кто сказал бы так о нем и о Лермонтове, засмеяли бы до смерти Сакуновы и Пиксановы, — да все равно и Венгеровы и Гершензоны. Лучшей характеристики писательства Лермонтова и его кровного, — по Ангелу и по плоти, — родства с Толстым, — нет и не может быть <...>

...«Ангел», эта неизреченная тайна и небесная радость русской поэзии <...>

Свидетельство Толстого о Лермонтове есть золотой венок на лермонтовскую могилу, такой венок Толстой возложил только на одну его раннюю могилу...

...Темнота отнимала резкость у предметов.

Сущего тряс нерезкий на вид трамвай.

Сказанное Толстым утрясалось в голове:

«Лев Николаевич не только освобождался от пространства и времени, которые, по его же мысли, лишь условность, но и от любых авторитетов в литературе... Ну, что ему Шекспир? Подумаешь, „Гамлета“ сочинил! А Гончаров — „еще больше литератор, чем Тургенев“ — сочинил „Обломова“... Впрочем, что это я? Толстого надо принимать таким, каков он есть. Ведь он „всегда переживал ужасную трагедию, которая заключается в том, что в нем сидит сто человек, совсем разных, и нет только одного: того, кто может верить в Бога...“ Лермонтов же переживал совсем иную трагедию... „Нельзя креститься будет без стыда“ — вот что гложило поэта. Кажется, Владимир Николаевич Соколов именно это и „провидел“. Да-да, „биография нищенская... остается «провидеть» Лермонтова...“ Но как быть с самим Соколовым? Что я, следова-

тель, должен „провидеть“ о нем? Очень уж он неподатлив на рассказы о своей особе... А тут еще убийство в „случайном семействе“ Вилкас...»

Взгляду даже случайно не за что было зацепиться — повсюду неопределенность и даль.

— Остановка «Электролесовская», — громко звукнуло вдруг из динамика. — Просьба не прикасаться к забытым вещам и посторонним предметам, сообщать о них кондуктору...

Суший поднял воротник и шагнул из трамвая в дикую мрачность.

Глянул на многооконные высокие дома и вдруг вспомнил: «Назвать вам всех, у кого я бываю? Я — та особа, у которой бываю с наибольшим удовольствием...»

Дотавившись наконец до своей берлоги, Константин Иванович повел себя несколько необычно: отыскал потрепанный лермонтовский томик стихов и включил диктофон, чтобы записать «Ангела». Провозился чуть ли не с час, пока наконец не удовольствовался результатом. И долго-долго, перематывая потом пленку, слушал, как «по небу полуночи ангел летел». А когда земля уже спала «в сиянье голубом», утомился и сам. Последняя его баюкашная мысль была такой: «Лев Толстой сказал о нем, о Лермонтове, что „если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский...“ Как же хорошо, нет лучше... Лучше и не скажешь...»

4

Матушка склонилась над его колыбелью и затянула грустно-нежную, дышащую любовью песню. Но стоило возникнуть бледно-зеленому отсвету в небе, Константин Иванович пробудился и тотчас же осознал, что любовь не веснует рядом, да и он не младенец. А скорее, невыспавшийся сорокалетний мужчина, смахивающий более на старика. Оттого он, наверное, и не распустил все свои паруса, и не заскрипел килем. Лишь пошевелил рукой, но сделал это настолько неуклюже, что книга, с которой он уснул, свалилась с дивана на пол. Книга раскрылась, что называется, на нужном месте. Он даже подивился такой ворожке случая и поднял лермонтовский томик стихов.

— Спи, — зашевелил Суший губами, — младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю...

Как будто зашелестело что-то, и мысли птицами стали налетать одна на другую, задевая одна другую крыльями:

«Лермонтов видел женскими глазами... Голубыми и печальными... Хотя на самом деле они были чуть ли не черными и часто колючими...»

— Кололи, значит... — подавил зевоту Суший. — По крайней мере, об этом свидетельствовали воспоминатели... Гм, крайняя мера — так не выспаться...

«И ладно бы я противился „обаянию сна“ ... Но я же не противился... Только вот сон... Эта — повальная, как говорится, болезнь не скоро заразила меня...»

Константин Иванович захлопнул книгу и босой розовой пяткой коснулся пола.

— Баюшки-баю... — усмехнулся он, потом встал на обе ноги, мелко засеменял, закрутился волчком и вдруг пошел впрысдку по всей комнате.

Молодецки отплясав, перевел дух.

— Проснулся? — спросил он самого себя и самому же себе ответил: — А то нет что ли...

И тотчас мелькнуло:

«Отчего мы никак не привыкнем... глядеть на жизнь как на трын-траву?.. Как, например, Гоголь глядел... как полагал... Э-э, „чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость...“ А верил ли он в это сам? Ну, скажем, более минуты? Гм, ну, даже если верил лишь минуту, то все же искренне и потому только наставлял друга-приятеля...»

Душ, кофе — ледяное и обжигающее — укрепили Сушего в мысли, что он, пусть и без «новой веселости», готов бросить себя в грядущий день. И он бросил — расследование обстоятельств смерти Владимира Необходимовича получило неожиданное развитие.

...День был в полном разливе.

Перед следователем упорно маячил «синий огонек домашнего пекла» — выходило, что смерть Соколова обусловили обстоятельства, видимо, сугубо личные, он «ударился о каменистое дно чудовищного непонимания» и... разбился... Но Суший не считал, что супруга Владимира Необходимовича лицемерно-бесчувственна, а дочь, дочь стала «обнаруживать свой характер и склонности». Просто припомнилось: «Все похоже на правду, все может статься с человеком».

— Все может статься... — пристегнул Константин Иванович и задумался.

«Рыдания не застревали у него в груди... Не такой он был человек, ну не такой и все... Нет, не то чтобы Соколов был лишен благодати слез... Но и оплакивать утраченный чад счастья он бы точно не стал... Кто угодно, только не Соколов... Как же это говорится? Э-э, „горе тонуло в любви, и дни не мрачились“, но после измены жены... „пала такая нехоть ко всему...“ Зажил он ощупью. И хотя сменил Петров Вал на Волгоград, и учительствовал, но из угла своего не выбрался...»

— Факт... — пожевал ртом Суший. — Это, черт его дери, факт...

«Вот только надо ли из угла выбираться? Вопрос!.. Хотя что кривить, житье-бытье в своем углу сплошь да рядом случается... Ну а буря? Э-э, „как там себе хочет...“ Да и не нужна такому буря... Право, не нужна...»

— Как, впрочем, и мне! — вдруг воспламенившись, сказал Суший.

И вот тут ум явился ему на помощь.

«Погоди, Костя, — начал уговаривать себя следователь, — тпру!.. Ты ведь что-то важное ухватил... Так покрути же — клубочек и разматается...»

— Семья? Конечно, следует обратить внимание на семью... Владимир Необходимович наверняка бы поинтересовался: «Вы будете там бывать?»

«Заочно отвечу: „Буду“, — ковырнуло Сушего. — Итак, что известно? Супруга... Э-э, бывшая супруга... Аглая Терентьевна, ну чуть ли не Милитриса Кирбитьевна... Сорочкапятiletняя баба-ягодка... волчья... И сожительствует... нет, нет, заметно живет с Плахотой Леонидом Григорьевичем... Так, теперь дочь Нелли... Нелка, как бывало ее величал сам отец... Студентка-студенточка, двадцать три года... А ну-ка возвратимся... к Плахоте... Кажется, я вспомнил его... Миллионщик... Причем колоритный, как Вавилонская башня... Этакое олицетворение Тщеты... И вот еще что... Несколько лет назад в Петровом Вале возбуждалось дело о мошенничестве... и фамилия Плахоты тогда нехорошо звучала...»

— А разве она может звучать хорошо? — поморщился Константин Иванович, и пена-слюна выступила в уголках его губ.

«Плахота, Плахота, Плахота-Плохиш... Нет, версию, что Владимира Необходимовича сгубила злая жена, придется если не отбросить, так отложить... Теперь я просто

обязан вникнуть во все перипетии того дела... Что-то в нем, чувствую, есть... А посему придется сохранять веру в фей, химер и сирен...»

— Петров Вал... город, как рука, раскрывшая персты...

И Сущий, пока думал о том деле, очутился на Приволжской железной дороге. Окрестности были рыжими, словно шкура лисы. Над Петровым Валом висел раскаленный котел солнца. Константин Иванович видел локомотивное депо и станцию, на которой собрались целые шайки поездов. А еще обозревал вызолоченные солнцем улицы, переходя от дома к дому. Он — точно нужда метала его — искал глазами гостиницу, где некий приезжий следователь что-то усердно записывал, временами сверяясь с бумагами. Этих бумаг было так много, что они покрывали книжный столик, кровать и даже часть паркета. Призывно белели.

«Нужно запросить дело... — вязались мысли в голове у Сущего. — Если память не изменяет мне, то огласку получило мошенничество с деньгами Фонда перспективного развития... Сам Плахота остался в стороне, а вот бухгалтер его, господин Тонкошкuroв, — в бороне, то есть все-таки присел... И, кажется, лет на семь...»

— А не мог ли Соколов что-то ведать о мошенничестве? Вряд ли в таком случае Соколов прошел бы мимо... Ведь уж он точно был не из тех, кто «тепел». Скорее, из тех, кто «холоден или горяч...»

«Ну да... сама горячка... Трясовица...»

Сущий отыскал в распухом блокноте заветный номер, позвонил Январеву и, объяснив архивариусу, как он его уважительно величал, суть запроса, стал собираться на службу. Когда Константин Иванович явился в отдел, запрашиваемая папка была у него на столе. Этакий привет от Январева! Следователь еще не раскрыл канареечно-желтую папку, но уже знал — знали его глаза и руки, — что он увидит наконец документы, которые хоть что-то да прояснят. Так он и пообещал своему второму «я», этому, как бают, подсознательному идиоту. И вскоре ощутил себя едва ли не Аладдином, за получившим в распоряжение волшебную лампу. Нет, власть над джинном он, конечно, не обрел, на принцессе Будур не женился и во дворце султана не зажил. Однако получил, что желал — недостающую улику из прошлого. Слово это (улика) полагалось бы, впрочем, взять в кавычки, ну да ладно, обойдемся скобками... Оказывается, Владимир Необходимович директорствовал в одной из школ Петрова Вала. Во как! Соколов — директор... Было это как раз тогда, когда Фонд перспективного развития выделил строительной компании «Анкор» баснословную сумму. Предназначалась она для перестройки школьного спортзала. Поскольку намерение намерением и осталось, а сумма при этом непростительно измельчала, Соколов предупредил следственные органы. Не лаялся — просто обличил казнокрадство. Так вот, в заключение ввергли тогда лишь анкоровского бухгалтера Тонкошкурова... По суду... Суд да дело — собака съела... Владелец же «Анкора», господин Плахота, сбавив «попечение о своей участи небесам», остался свидетелем.

«Вот, вот... золотой молоток и железные двери отворяет...»

— Что это дает? — сказал разочарованно Сущий, откладывая папку. — По сути, ничего...

«Очередной тупик соколовистики... Э-э, другой бы давно прекратил расследование... Но что значит другой? Я.. я не другой... Гм, а не встретиться ли, вот теперь, с Эммой Вилкас? Не обеспокоить ли? И повод имеется... смерть Соколова... По мне, так весьма странная...»

5

Казалось, Суций пристально рассматривал Эмму. На самом же деле он мысленно вглядывался в знакомые черты Владимира Необходимовича.

«Изменив службе и обществу, — припомнилось следователю, — он начал иначе решать задачу существования, вдумывался в свое назначение и наконец открыл, что горизонт его деятельности и житья-бытья кроется в нем самом...»

— Ах!.. Никак о Владимире Необходимовиче думаете?

Сначала Суций будто бы и не слышал этого «ах», но потом все-таки отозвался:

— Знаете, Эмма, меня поражает ваша пронизательность... Нет, правда...

«То-то я и гляжу», — подумала девушка, но уронила:

— О, комплимент?

— Комплимент.

— Только вот...

— Со мной не увязывается, — помог следователь.

— Ну, вы и сами знаете.

«Донна, — ковырнуло вдруг Сущего, впервые посмотревшего на Эмму, как если бы он был влюбленным одноклассником. — Рафаэлевская кисть...»

— Э-э, нет, знаю лишь то, что ничего не знаю... — начал легким сипеньем Константин Иванович, и его снова ковырнуло: «Такой Донной была... и моя разнесчастная Маша...»

Девушка выдержала его взгляд и спросила:

— А что вы так смотрите? Кого-то напоминаю?

«Мысли, что ли, читает?»

— Вы не подумайте, Константин Иваныч, мысли я не читаю...

— Да неужели... А то я уж и пальцы скрестил...

— Ну а что, — проговорила Эмма, — сильно я переменилась?

Ассирийская борода колыхнулась:

— Так скажу... За те девять годочков, месячишечко и восемь денечков, что мы не виделись, вы не переменились. Все та же Форнарина...

Надо отдать должное Сущему: говоря все это, он, впрочем, не стал напоминать, где они виделись с Эммой в последний раз. А именно в зале судебных заседаний — в тот скандальный день Эмму Вилкас с сестрами судили за убийство родителя и... оправдали.

— О, это, — прорезался голосок у девушки, — право, комплимент...

— Но я не каюсь, — пробасил мужчина, — не посыпаю голову пеплом...

И тут в памяти его вызначилось: «...улыбнется до дна души».

Эмма и впрямь улыбнулась и посмотрела на Константина Ивановича так, словно отрадное чувство рождалось в ее душе. Потом смутилась, отвела взгляд, но через мгновение как-то добродушно, во все глаза вновь посмотрела на него.

«Понравиться он, что ли, мне хочет?»

— И да, желаю вам понравиться...

— Вам это почти удалось, — сказала негромко девушка.

— Ладно, хорошо...

«А теперь еще и „ладно, хорошо“, — мелькнуло у Эммы. — Моя же собственная присказка...»

— Что дальше?

— Поговорим, Донна.

— По душам?.. С вами трудно говорить по душам...

— И все-таки попробуем...

— Только не называйте меня больше «Донной».

— Неужто выглядит как претензия на поэзию?
— Нет, не в этом дело, — почти крикнула она с пылающими глазами, — не называйте, и все!

— Вник... А теперь вопрос: отчего, по-вашему, умер Соколов?

— От смерти...

— Избито, Эмма, избито...

— Ничего иного, увы, на ум не приходит.

— В таком случае не могли бы вы восполнить один пробел? — спросил Суший, беря в руки канареечно-желтую папку. — О, нет, нет... ничего предосудительного... Просто расскажите, о чем говорил с вами и другими девочками Владимир Необходимович, когда на него в школьном вайбере появились клеветы... И да, не отпирайтесь, я наверное знаю о том разговоре... Э-э, от Алексея Гореликова...

При упоминании имени ее бывшего одноклассника Эмма вздрогнула.

— Клеветы... — начала она, как бы доказывая, что Суший не застал ее неприготовленную врасплох. — Как же... помню... слетели с наших поганых языков... Но вы не поверите, Константин Иваныч, я бы точно не поверила... Соколов в тот раз всех нас, дурочек дурных, удивил... Как бы это объяснить... Ну, понимаете... Он был само достоинство, что ли... Не кричал, ногами не топал... Не оправдывался ни в чем... Даже шляпу свою не снял... Он... он лишь травил нам хармсовские анекдоты о писателях... Слыхали?

— От вас однажды и слышал...

— Гм... Ну, тогда мне больше нечего добавить...

— Ай-яй-яй!.. За ушко да и на солнышко...

— Позвольте!

— Нет, это вы позвольте...

Суший хлопнул папкой об стол и продолжал:

— Всяк человек ложь — и мы тож... Не так ли, Эмма?

— Чего вы добиваетесь?

— Правды... Правду не переспоришь...

— Ладно, хорошо... Я расскажу, что знаю... На том достопамятном для меня да и других, думаю, девчонок собрании Владимир Необходимович действительно удивил... Вернее, даже поразил... Он сказал, что в мире все уже старо, как жест Вероники... Мы, естественно, спросили: «Что еще за Вероника?» Он же, знающий, каким крючком подцепить, продолжал: «В западноевропейских средневековых сказаниях упоминается некая благочестивая иерусалимская женщина Вероника... Та самая, что дала Христу на пути к Голгофе свое сложенное втрое головное покрытие... Христос отер пот и кровь с лица, и на покрывале трижды отпечатался Его лик... Так вот, себя с Христом я не сравниваю, супругу же бывшую с Вероникой, пожалуй бы, и сравнил... Она всегда проявляла сострадание к ближнему... Донна, истинная Донна, говорю вам... Не трепите больше имя ее почем зря... Ни в вайбере, нигде... Когда мы расставались, я, ничем уже не томимый, сказал ей: „Я вас любил так искренно, так нежно... Как дай вам бог любимой быть другим...“ Я и теперь ей этого желаю... Понимаете?»

— Ну что ж, — понимающе кивнул Суший, — правда бессудна...

И тут девушка ударила его взглядом.

— Полегче, Эмма... Такой взгляд, конечно, не нож с кровостоком, но...

— Но все же добывающий... — съязвила она.

Он помолчал, как бы переводя дух, и сказал:

— Помните?.. Нет, вы вспомните... Э-э, «лениво махнул он рукой на все юношеские обманувшие его или обманутые им надежды...» Все... Да-да, «все нежно-грустные, светлые воспоминания, от которых у иных и под старость бьется сердце...»

— Только вот до старости, — вклеила Эмма, — Соколов не дожил...
— А что, Обломов дожил?
— О, да вы правы... правы, как говорится, без апелляции... — Вилкас деланно засмеялась.

Суший ничего.

— А вам не весело? — девичий голос дрогнул, смех скомкался. — А вы разве не рады-радехоньки?

— Не вижу причин для радости... Владимир Необходимович изъят из жизни... Как это случилось? Почему? Неизвестно... Расследование заколодило... Истина хоронится, как собака от мух...

— Вы говорите о Владимире Необходимовиче, словно не вернули ему долг...

— Долг? Ну что ж, Эмма, пожалуй, и не вернул... Долг, он ведь как... Не ревет, а спать не дает...

Она посмотрела на него, хотела что-то спросить, но осеклась.

— И еще одно...

Он помедлил и сказал:

— Гореликову тоже не дает покоя эта странная смерть. Он как медведь-шатун, лишившийся родного леса...

— Никакой он не медведь... Медведь — это благородство, медведем был Владимир Необходимович... Гореликов же только копия... Матрица... Жалкое повторение... Я не желаю слышать об этом человеке...

— Причина? Назовите причину, пусть даже личную... Я настаиваю...

— Константин Иваныч, вы забываетесь...

— Эмма, я прошу...

Она бессильно уронила руки на колени и вымолвила:

— Что же ты делаешь со мной, Костя?

— А ты со мной?

— Скажи, это что-нибудь да значит?

— Многое значит...

Девушка, словно услышав единый стук их сердец, оборвала:

— Нет, пожалуйста, замолчи... Мы не можем, мы не должны, мы... — Она торопливо коснулась его шеи, притянула к себе и поцеловала. Поправив же сбившиеся волосы и тронув губы, сказала: — Щекотки-щекотки...

— И космато, да не медведь... А посему бороденку долой...

— Вопреки воле, привычке, рассудку?

— Да брось, Эмма... лицо по бороде не плачет... Так что сбрею...

— Заметь, не я это предложила...

— Не ты, ой, не ты!

...Сна не было не то что крепкого, как камень, вообще никакого. Однако было нечто более важное — последнее его счастье.

Боясь пошевелиться на своем еще недавно монашеском ложе и разбудить Эмму, Суший думал, как же он так сразу получил амонат, амант и аморант — дар, возлюбленную и бессмертие — и вдруг обжегся-вспомнил: «...нить шнурка жизни начинает закручиваться в неправильный, сложный узел».

— И пусть... — зашептал Константин Иванович. — Пусть... лишь бы он никогда более не развертывался... И плевать, «под какие крыши или какие звезды приведут нас наши шаги», — Суший спрятал улыбку в бороду. — Ну а утром... Э-э, утром бриться... А то по роже знать, что Сазоном звать...

«Страсть!.. — снова обожгло Сущего. — Все это хорошо в стихах да на сцене, где в плащах, с ножами расхаживают актеры, а потом идут, и убитые, и убийцы, вместе ужинать...»

Еще мгновение назад он был весел и молод, а теперь — даже темень не могла этого скрыть — побледнел и состарился и как-то почти беззвучно выговорил:

Что же? Не видите ль вы, как год сменяет четыре
Времени, как чередом подражает он возрастам нашим?..

Сущий начал плошать и сбиваться:

Также и наши тела постоянно, не зная покоя,
Преображаются. Тем, что были мы, что мы сегодня,
Завтра не будем уже...

Константин Иванович совсем уже сбился, но потом, поискав в глухих закоулках памяти, продолжил с другого места:

Плачет и Тиндара дочь, старушечьи видя морщины
В зеркале; ради чего — вопрошает — похищена дважды?
Время — свидетель вещей — и ты, о завистница старость,
Все разрушаете вы; уязвленное времени зубом,
Уничтожаете все постепенное медленной смертью...

И тут он, как приговоренный к этой самой смерти и как в последний раз, задумался:
«И к чему это все вывернулось?.. Да-да, знаю... Э-э, вот только Эмму не надо пугать „прямой дней“... А впрочем, глупость... Пустое... Эмма не откажется от... Ну что еще за „от“? Так и скажу — от меня... Я же и подавно не откажусь от нее... Моей Донны... Воображение разыгралось? Нельзя „уснуть доверчиво под его сладкий шепот“? Ах, Боже мой! Но до сна ли теперь?..»

— Как же это? — спросил сам себя Сущий и, вспомнив, выговорил: — А так, ветром бы жил да букетами!

6

— Костя, что ты все бормочешь? Дурной сон?
— И рука не спала, и нога не спала...
— Ах, бедняжка! Голодному ажно и ночью не спится...
— О, не жалея меня, я баснословно вознагражден... Ведь я невольно вглядывался в эту шею, плечи, жемчуги, прическу и любовался красотой плеч и жемчугов...
— Знаешь, — девушка весело посмотрела на Сущего, — маленькая ложь...
— Знаю, знаю... — с лихвой вернул он, — рождает большое недоверие... И да, замечу, ты все же читаешь мысли...
— А еще я провижу будущее, но моим предсказаниям никто не верит...
— Так, так... А ты, случайно, не последняя троянская царевна?
— Увы и аминь! — она почувствовала, что он хочет поцеловать ее, и подалась к нему. Оставшуюся часть пути оба проделали в молчании.

...Она навострила на него глаза, ожидая, что он скажет, и услышала:
— Когда Ольга Ильинская вот так смотрела на Илью Обломова, как смотришь сейчас на меня и ты, он прозрел...

Титаническое мгновение — глаза как пожар:

— А подробнее...

— Ну а подробнее, — оживился и Сущий, — он прозревал, говоря... Э-э, «не знаю... только мне кажется, вы этим взглядом добываете из меня все то, что не хочется, чтоб знали другие, особенно вы...»

«Нет-нет, — осенило Эмму, — „прозревал“, „прорицал“ — это все не про тебя... На умеющего истолковывать „полет птицы, биение крыльев и те фигуры, которые образуют внутренности или облака“, ты совсем не похож... Тогда кого же так мучительно напоминаешь? Владимира Необходимовича? Вот именно... Как я раньше не поняла? Ведь ты... „Не я и не он, и не ты... И то же, что я, и не то же...“ Двойник... бесспорный его двойник... Сущность. Суть. Сущий...»

Эмма подивилась своей догадке и, словно сбросив морок, выговорила:

— Ага, единственный русский роман, изменяющий и расширяющий сознание... — Неудивительно, что ты ценишь «Обломова»... Ну, еще бы, такие переливы...

Сущий смотрел с недоверием:

— Считаешь этот роман психоделическим?

— Я... я не знаю, что говорю, извини... Наверное, все оттого, что ты странно действуешь на меня... Так странно, что я не в состоянии ничего добывать из тебя... Поэтому ответь просто: почему ты полюбил? Ведь полюбил? — в голосе Эммы был такой осадок страха и безотчетной тоски, что, право, промолчи он теперь, то она увяла бы, как маленький цветок.

— Да, я полюбил... — сказал Сущий, не колеблясь и угадывая Эммино состояние. — И все-таки ответить просто не смогу, не взыщи... Тут Гореликов мешается... А ты... ты «не желаешь слышать об этом человеке».

Эмма подурнела, стала беспокойнее — в лице нехорошая острота.

«Какие муки терзают ее? — придавило Сущего. — Что за Алатырь-камень между нею и Гореликовым? Что за Сурож-море?»

Не сдерживая своей воли, Константин Иванович вдруг сказал:

— Нет, бог с ним, с морем! С камнем!.. Я не буду, как говорится, допрашиваться причин у немых, неясных иероглифов природы... Твои отношения с Гореликовым — это твои отношения... Но ты послушай... Послушаешь?

— Ладно, хорошо...

— Тогда, — воодушевился Сущий, — я начну, и если уж позволишь, несколько издаleка... Э-э, о «переливах» у Гончарова... Ведь его «Обломов» — тут ты права — это психоделика... И да, в русской литературе такой роман единственный... А впрочем, и в мировой тоже... Мыслимо ли удержать внимание читателя на пятистах страницах? И чем? Невероятным сюжетом? Но его и в помине нет... А есть погружение в транс, не имеющий ничего общего со сном. Человеческий сон, как и сон природы, можно хотя бы прочитать... Кстати, завершив работу над романом, Гончаров сказал: «Я писал свою жизнь и то, что к ней прирастало».

Сущий произвел доскональный обзор и, убедившись, что разбудил что-то в своей Донне, продолжал:

— Признаюсь, и ко мне «прирастало», пока беседовал с Гореликовым... Ты еще не знаешь, но в одну апрельскую среду мы с ним переведались... О, как, помимо другого-третьего, он говорил о тебе! А пожалуй, и прежде всего... Эмма то, Эмма се... И тогда во мне что-то стронулось — сам себя перестал узнавать. Гм, представляешь, вытащил с антресолей старые аудиозаписи наших с тобой бесед... Не все, каюсь, тогда, по окончании следствия, сдал нашему архивариусу Январеву... А впрочем, я абонировал их... И, знаешь, крутил, крутил. Голос же, как утверждают, со временем не меняется — вот

я и хотел услышать, как ты говоришь. В общем, по Гончарову повернулось... Э-э, «трогала жизнь, везде доставала...» Везде все было чужое... без тебя... И вдруг посреди чужести — нечто знакомое... То есть некто... то есть ты... Я увидел тебя на улице и узнал. Хотел окликнуть. Да как же? Не смог...

— Но почему? — встрепелась Эмма.

— Вспомни Воннегута... «Нельзя сказать, почему или зачем произошло что-либо — такова была структура момента». — Сущий, как бы успокаивая, дотронулся до ее рук с длинными прозрачными ногтями. — Какие женские руки... Нет, Эмма, не то... не то говорю... — он побледнел. — Твое явление... Э-э, не явись ты теперь, я преступил бы... Я пошел бы отнимать чужую жизнь... — взгляд его помутнел. — И пусть это жизнь мизгирия, но...

— Костя, объясни, я не постигаю... — страшно затревожилась девушка и молитвенно сложила руки.

— Постигнешь, — голос Сущего дрогнул. — У меня на это семнадцать лет ушло... Семнадцать лет я искал, расследовал... Э-э, такие преступления почти никогда не раскрываются, слишком просты и очевидны, что ли... Так вот с месяц назад я все-таки доискался... Захотел случай... Теперь мне известен погубитель моей невесты... Моей бедной Маши... Да, известен наверное... Я даже знаю его панихидного вида родителя... Знаю почему тот его покрывал... Только доказать не могу. А вот прибить... прибить могу, обоих, это в моей воле...

Лицо осветилось мрачным блеском глаз, и он продолжал:

— Каждый вечер этого проклятого месяца нисана я садился в трамвай и ехал по направлению к их таунхаусу, засыпающему в глубине соснового бора... Поговаривают, что и этот бор тоже их собственность... Зачем же я туда забирался? Может быть, весной наслаждаться? Птиц слушать? Э, нет... чтобы топор в петле под курткой чувствовать... Следить и ждать...

Эмма подалась к нему и, заглядывая в глаза, спросила:

— Ты не сделаешь этого?

— Теперь уже не сделаю... — Он уныло смотрел на нее, как осужденный. Она же как бы убеждала его взглядом, что он не подсуден.

— Вот и ладно, — нежность заплескалась в ее голосе, — вот и хорошо, что я вдруг явилась в твою жизнь... — А почему или зачем — все равно... Мы же выяснили — такова была «структура момента». И теперь я... твоё серденько?

— Да, — возликовал он, как будто зажил вторично, — мое серденько... это — ты...

— Кохаешь? — спросила Эмма, причем вновь на малороссийский манер.

— Кохаю, — ответил Сущий. Он тотчас озлился и обругал себя мысленно, поскольку почувствовал слащавость в этом чужеродном «кохаю», а значит, и неискренность.

Видимо, и Эмма почувствовала то же самое. Несчастную охватила трясовица или ее подобие. Но скорее это все-таки бичевала совесть. Ведь девушка возненавидела себя и за «серденько», и за «кохаешь», и даже за то, в чем и вовсе не была виновата.

— А пожелаешь, — по щеке у нее медленно тянулась слеза, — если только пожелаешь... репродукцию платка Вероники подарю...

Все ликование, вся радость его ступевались — исчез поэтический смысл.

— Пожелаю, Эмма, только не плачь... — помрачнел он. — Теперь я уже никому ничего не сделаю... — Он сказал и не поверил себе, впрочем, и она почти не поверила ему.

— Ладно, хорошо, — проговорила она отрешенно, — хорошо, мой милый...

Немилостив и ветхозаветен был мир.

И был он не морем заиндевевшего бархата, а скорее окаменевшей пустыней. Только без синего холма, креста и толпы.

В гробовой черноте ночи раскалывались допотопные удары грома. Голубели в небе крылья молний. А внизу, на земле, по спинам домов били плети дождя. Били уже долгое время. Они-то и нагоняли на Сущего возвратный сон. Вновь снились единицы и нули. Эти, как он их когда-то нарек, вокабулы ползли по белой странице. И что примечательно, значения их были ясны и переводимы. Отныне вокабулы можно было читать. В чем он, собственно, и преуспел:

- «девочка с всезнающими глазами...»
- «белое лицо Эммы и длинная линия ее шеи были ясно видны в ярком свете...»
- «черные глаза ее сделались бархатными — ну, прямо как у княжны Мери...»
- «представьте себе женщину, она столь прекрасна, что когда вы вглядываетесь в черты ее, то не можете сказать нет радостным слезам своим...»
- «ангел-барышня...»
- «существо, в котором светилась вся моя надежда...»
- «молодая, как Беатриче...»
- «словно авгур, взирал я на мое божество — Эмму Вилкас...»
- «она васильковела...»
- «никакая звезда не сравнится с нею...»
- «смотреть на Эмму искус, испытанье, но отказаться было не по силам...»
- «слезы ожили на глазах у Эммы...»
- «она была все еще явно не в себе... ну, то есть с больной кровью...»
- «иноземная, барабанная музыка ее имени была превосходна...»
- «улыбка-укол...»
- «signora mia... моя синьора...»
- «maledetto, sono stregato!.. проклятие, я околдован!..»

А внешний мир, омытый дождем, но еще не облитый жидким, как масло, солнечным светом, скользил мимо — колдовство не заканчивалось. В доме же, за окном, завешенным плотной тяжелой портьерой, напротив, все замерло. Эмма покоилась на булыжной груди Сущего, ее также обволакивало сновидение...

Мужчина в шляпе с полями, как крылья ворона, неспешно закусывал синим дымом. И девушка вдруг осознала, что впервые видит учителя с приклеенной к губам сигаретой. Класс кишел людьми. Но никто, кроме нее, Эммы, почему-то не замечал учителя. Она даже пыталась указать на него остальным, но ничего путного из этого не вышло. Когда класс наконец обезлюдел, учитель стянул привычным движением шляпу и небрежно бросил ее на стол. Затушил сигарету и, растягивая слова, проговорил:

— Ты можешь увидеть не только то, что предстает перед тобой, но и то, что грезится другим... Такой вот сон наяву...

Эмма же не нашла, что сказать. Проснулась и сразу ощутила, насколько бешено колотится в груди у Сущего. Даже отпрянула от него.

«Ведь это привиделся Костя... — сообразила она. — А я было подумала, что Владимир Необходимович...»

Только теперь девушка уловила истинный смысл замкнутого круга, по которому шатался этот медведь-двойник. Она разглядывала весенне-бледное лицо Сущего, в то время как за окном постепенно разгорался солнечный четверг.

Небо расступалось.

Все-все пятнало солнце.

Комната, диван, книги на полках, возлюбленный Эммы, абсолютно все вокруг делалось лимонным и пробуждалось.

— Пора, дитя мое, вставай... — пошевелил рукой Сущий. — Да ты, красавица, готова! О пташка ранняя моя... — Мужчина потянулся за очками, лежащими на журнальном столике. — А хочешь, я тебе почитаю? Ну же, пташка, не барахтайся в своих колебаниях... Это, — закончил он, — из дневника Владимира Необходимовича.

7

Порицать себя за эту фривольность, за эту «пташку» Сущий не стал. Но подумал: «Все Гореликов со своими пассажирами...» Оно ведь и верно, раньше бы Константин Иванович такого, пусть и в разговоре с Донной, ни за что бы не навертел... Чтобы он да «к Шиллеру заехал в гости...» Нет, нет и нет... Поговорку, ну это пожалуйста... «Кто рано встает, тому Бог подает...»

В этот же раз Сущий, встретив блеск ее ждущих глаз, позволил себе много больше.

— Бог видит, — сказал он с помятым и размазанным видом, — что я, Кирджали, жил подаванием...

Он и впрямь был как разбойник... Бедный и благородный...

А она — как маленький цветок... Как подношение судьбы...

Когда он заметил, что она «бледна прекрасной бледностью», то услышал в ответ: «Каков Кирджали...»

Но каков бы он ни был, он понял: питать ее надобно литературой. Причем отборной. Золотой. А иначе зачахнет... А иначе увянет... Как же не допустить этого? «Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак...» Вот и сделался Сущий поэтом... Лирическим и в душе... Занежил цветок маленький. Гончаров, наш законнейший классик, отнес бы это, пожалуй, к тому или иному фазису любви. Перелил бы тему в роман, уделив ей энное количество страниц. Получился бы, конечно, «Обломов».

И вдруг толкнулось — там, где сердце.

— Что же не читаешь, Кирджали? — словно коснулся его бархатистый и обволакивающий голос Эммы. — Ведь хотел...

— Прости, задумался.

— Прости? Ах, лиходей! Ах, инсургент!

— Я? — тряхнув головой, он сдвинул черные разбойничьи брови.

— Ладно, хорошо... — глаза ее налились сонно-насмешливым блеском. — Витязь, удалец...

— Я, я, — запредставлялся немчурой Сущий, — корошо, гут...

— А ты ничего, веселый... Продолжаешь, что называется, прерванную традицию трубадуров и менестрелей... Таким ты мне даже больше нравишься...

— И ты мне больше нравишься такой... — он поцеловал ее руку. — Э-э, такой не стыдящейся своей наготы и темного мыска под животом...

— Значит, ты меня еще не разлюбил? — ее черно-зеркальные глаза заблестели вдруг радостно и нестеснительно.

— Глупая. Ужасно глупая! — он опять прижал к губам ее руку. Прижал так, словно это не рука была, а икона.

Она же, закрыв глаза, зашептала-замолила:

Не люби, богатый, — бедную,
Не люби, ученый, — глупую,
Не люби, румяный, — бледную,
Не люби, хороший, — вредную:
Золотой — полушку медную!

— Ты как на амвоне, — сказал Суший, — такая надмирная, кроткая...
 — Ну, хватит, хватит меня дразнить... Лучше читай... Иль передумал?
 — Мадмуазель, — он театрально склонил голову, — а вот никакая вы не кроткая... Гм, вы актерка и улыбаетесь мне как критику... И я, конечно же, не передумал... О, нет, нет... — зашелестел он поспешно страницами дневника, как бы в подтверждение своих слов. — Напротив, имею честь представить вам «Фаталиста»... Сочинение месье Лермонтова, в обработке месье Соколова, с предуведомлением месье Набокова... Слухом услышите и уразумейте и глаза свои не сомкните... «Положение, в каком оказывается Печорин, вынужденный в конце концов подставить лоб под дуло пистолета Грушницкого, могло бы выглядеть куда как нелепо, если забыть о том, что наш герой полагался отнюдь не на случай, но на судьбу. Об этом совершенно недвусмысленно говорит последний и, надо сказать, лучший рассказ — „Фаталист“, важнейшая сцена которого также построена на предположении, заряжен пистолет или не заряжен, и в котором между Печориным и Вуличем происходит как бы заочная дуэль, где все предуготовления к смерти берет на себя не фатоватый драгунский капитан, но сама Судьба». А теперь отбросим все блестящие формулировки Набокова и допустим, что роль этой самой Судьбы берет на себя Печорин. Почему нет? Убеждая, опять же самого себя, что видит на лице Вулича «какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы», он решается на убийство несчастного поручика. «Вы нынче умрете!» — следует понимать именно в этом, прямом значении...

Суший взглянул на Эмму заговорщицки и продолжал: «Услышите и еще...»

Фаталист

Чеченцы заставили в эту ночь броситься всех к оружию. Запылала окраина станицы, завязалась сильная перестрелка. Печорин не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно командовал.

Когда чеченцы отступили и станичники принялись тушить пожар, прапорщик Печорин, никем в царившей суматохе не замеченный, пробрался на гауптвахту. В глаза било зарево пожара. Гауптвахта от зарева казалась сумрачно-красной, конвойные оставили ее, убежав туда, где полыхало. А пожар разъярялся все жарче и грознее, уже в небе несло пламя. Виднелись над черной землей красные остовы нескольких сгоревших хат.

Печорин сбил шашкой замок и вошел в гауптвахту. Казак Ефимыч, как его величали сослуживцы, протрезвевший от чихиря и хмурый, поднялся с лавки и вытянулся перед прапорщиком.

— Сиди!

— Так вашему благородию будет сподручнее меня убить... Понимаю...

— Что ты понимаешь, дурак?

Казак не сел на лавку, но вполне успокоился:

— Не извольте тревожиться, Григорий Александрыч... Я не скажу нашему майору, что это вы Вулича усахарили... Я пострадать хочу... Я в Сибирь хочу... Я же своих хлопцев обокрал и добро их, кровью нажитое, на чихирь жиду Янкелю сменял... Последняя собака — вот кто я...

— Да ты, я вижу, не в себе... От моего удара, что ли, не оправился?

— Ваша правда, приложили знатно... — Ефимыч тронул гуглю на затылке, оставленную ему давеча Печориным. — И как это вы ловко да вдруг оторвали ставень и бросились в окно головой вниз... Я все же выстрелил, и пуля сорвала эполет. Но

дым, наполнивший хату, помешал мне найти шашку, лежавшую возле меня. А то зарубил бы...

— Как ту свинью, пополам?

— Свинья, что свинья... Вы вон человека зарубили... Я своими глазами видел...

А что пьян был, так от того и не отказываюсь...

— Значит, видел?

— Ваше благородие, а зачем... Зачем вы это сделали? Ведь вы не чеченец окаянный, а честный христианин...

— Исповедуешь ты, что ли, меня?.. А впрочем, изволь... Умирая, Вулич сказал только два слова: «Он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне: я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины... Э-э, fatalis, — усмехнулся Печорин, — «определенный судьбой»... Неверно понятое суждение... Верное же — это когда совершается чреватая, но необходимая существу импровизация... Я и есть фаталист... А Вулич, Вулич все неправильно истолковал... Конечно, я его провоцировал, шутя предложив пари. А он не шутя его принял... Стрелял в себя, но эти азиатские курки дали осечку... Впрочем, это все равно. Вулич уже схватил смерть за руки...

Казаку Ефимычу, слушавшему эти непонятные рассуждения, сделалось вдруг не по себе. Мелькнуло: «А прапорщик-то, кажись, умишком тронулся... Не зря про него сказывали, что он того...»

Печорин вложил саблю в ножны и после оживленного молчания проговорил:

— Гауптвахта открыта, конвойные тушат пожар... Я сейчас уйду, а ты беги... Беги, не блажи... Старуху мать пожалей... Слышишь?

— Григорий Александрыч, ваше благородие, да разве за этим вы сюда шли?

— Зачем я сюда шел, теперь только одному Богу известно... — Печорин поворотился и выбежал с гауптвахты прочь.

...Пожар догорал, как крики станичников. Печорин возвышался над курганом, станицей и окрестностями, багрово серая, и в глазах у него мелькал сквозной блеск: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!..»

— Это все? — спросила Эмма, подняв брови.

Сущий нехотя пожал плечами, мол, все.

— Ну, конечно, ты же и сам фаталист... Сам не прочь импровизировать. Оттого и опус Владимира Неоходимовича так тебя позабавил. Не отрицай, я ведь вижу, что позабавил. Детективный сюжетец, психологические изливы-переливы... Достоевщина... Только вот я ее не люблю... Не лю-блю...

Он закрыл дневник и положил его вместе с очками на журнальный столик:

— Знаю.

— Что знаешь? — растерялась она.

— Знаю, что не любишь Достоевщину.

— И теперь ты скажешь, — неожиданно быстро справилась с собой Эмма, — что она нашему брату, то есть сестре, даже неприлична... Что мы с нею, с этой Достоевщиной, того и гляди, нос себе обожжем...

— Без комментариев, Донна... — с милой усмешкою начал он и тотчас же получил тумака.

Суший притворно покривился, потирая плечо, и, стараясь, чтобы звучало равнодушнее, бросил:

— Да, кстати, завтра я встречаюсь с Гореликовым. Следствие закончено, дневник я отдам Алексею...

— Делай, что знаешь, мирволить не буду...

— Учту, Волчишка.

— Ах, какой низвед! Теперь я Волчишка...

— Сама же клянeshь меня за Донну... Колотишь... А Волчишка... ну, это от волка...

Ты все-таки Вилкас...

— Каков Кирджали...

8

«Никакой он не медведь... Медведь — это благородство, медведем был Владимир Неодимович... Гореликов же только копия... Матрица... Жалкое повторение...» — найдя это на окраинах памяти, Константин Иванович порешил более не доискиваться, как он поведет разговор с учителем.

Суший намеренно пригласил его в неурочное вечернее время, как бы подчеркивая неофициальный характер их встречи. Впрочем, находясь в ажитации, как он сам мысленно называл это свое состояние, Константин Иванович то и дело поглядывал на хронометр и входную дверь. Гореликов вошел взлетающим шагом в назначенный час, тяжело дыша в тисках своего иссиня-черного костюма. «Ну вот, — вызначилось у следователя, — точно знамение конца мира...»

Сухо поздоровались и расположились в креслах за столом.

Один хоронился разговора и пылал румянцем, словно девица на смотринах.

Другого язвило воспоминание: «Он молчал... дальше или ничего, или не нужно было говорить...» Потому этот другой, поправляя очки и указывая на дневник с простенькой обложкой из зеленого бумвинила, и начал без прелюдий:

— Вы еще хотите его получить?

— Разумеется.

— Тогда выполните условие.

— А именно?

— Ответьте, что такого произошло между вами и Эммой Вилкас? Отчего она не желает о вас слышать?

И тут будто бы наступил момент, когда должно было вставить вместо имярек имя своего недоброго знакомого.

— Константин Иваныч, — поморщился Гореликов, словно его мучила открытая рана, — видимо, вы уже догадались, отчего так вышло... Но зачем-то хотите меня раскастить...

— Алексей Алексеич, вы будете стыдиться, поскольку ошибаетесь и насчет первого, и насчет второго...

— Извините. Слушайте, дайте воды... Язык не ворочается, все пересохло во рту...

Руки у него дрожали, когда он брал стакан. И Константин Иванович, заметив это и злорадно припомнив, «как мы заплакали оба, как вскрикнула жизнь на лету», сказал:

— Выпейте и успокойтесь.

— Успокойтесь? — поглядел отрешенно Гореликов. — Что ж, я не прочь... А знаете, думал, что привык жить с этим, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отняли, например, руку или ногу... Но выходит, что привыкнуть к этому нельзя... Нельзя сделать так, чтобы мир внутренний ничем не омрачался...

Пока один говорил, другой, совестясь, давился воспоминаниями: «Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то?»

— Забирайте дневник, условие отменяется! — вырвалось у следователя, словно само собой. А еще вспыхнула и поблекла мысль: «Не хочу я, как другие... „начинают гладью, а кончают гадью...“ Я так не хочу...»

И вдруг Гореликов сочинил какое-то невообразимое лицо:

— А-а-а... потому что я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью... Только не надо снисхождения... Слышите, вы? Лучше обличайте! Извергните... Вы не в состоянии? Вы начитались... «А как вы извергните из круга человечества, из лона природы, из милосердия Божия?» Да плевать! Плюньте и разотрите... Или не можете сделаться покойным и равнодушным ко всему на свете?

«Надо перегодить», — подумалось Сущему, словно он пытался достичь темного dna его мыслей. И еще вызначилось: «...что случилось с тобой в суетном коловращении мирской жизни...»

— Простите за извет... — неожиданно осадил сам себя Гореликов. — Дайте еще воды...

Он пил жадно и долго, пока наконец не отодвинул от себя полупустой графин.

— Всему виной мое малодушие... — прозрачные серые пронзительные глаза его смотрели теперь тверже, увереннее. — Помните... Впрочем, что я спрашиваю: это же ваше было расследование... Вы тогда доказали, что все «в аффекте безумства и помешательства» вышло и что Эмма с сестрами непреднамеренно убила родителя... А я, ну а я усомнился... И усомнившись, оказался в чине предателя... Вот отчего она не желает обо мне слышать...

«Давно это было, — мелькнуло у Сущего, — в незапамятный срок...»

Гореликов заторопился, начал расстегивать ворот и, сбив набок галстук, вдруг выговорил:

— Вот почему лицо мое не сияет радостью выздоравливающего... Но то, что вы теперь вместе — да, я слышал от наших общих с Эммой знакомых, — это... Это — правильно... Так и должно... Не сиротать же... А я, я забираю дневник и ухожу...

«Что ж, сударь, пора! — ковырнуло Сущего. — Только „не поминайте лихом“ не присовокупляй, а то совсем скверно выйдет... А пожалуй, и пошло...»

— Постойте, Алексей Алексеич! Может быть, вы хотите ей что-то передать? — И снова ковырнуло: «Ну зачем я спросил? Неужели он, при его-то уме, не „различит нарумяненную ложь от бледной истины...“ Не почувствует фальшь?»

— Нет, лишнее, — астматически захрипел Гореликов, заторопившись с ответом и, кажется, действительно почувствовав неискренность. — Не стоит, как говорится, это тащить вам через три границы...

— А вам извиняться, что отняли у меня время? — попытался отыграть Сущий, но вышло подтравно.

Взгляды их, ожидающие, сцепились.

«Но потом, — припомнилось Сущему, — наступило какое-то призрачное молчание...»

«Ну, вельможья... „все лучше, все хитрее...“ Только чем же ты ее завлек? Чем прельстил? Какими добротами? Может быть, седым височным блеском? Наружностью? Э-э, касательно наружности... Полагаешь, отлично красив теперь? Теперь, когда избавился от грубо-древней ассирийской бороды... Э, нет, Антик, ты теперь еще гаже... А эти твои „телесные и духовные прыжки“ просто мерзят... Не думай, что я „становлюсь кроток и тих, как благодетельное дитя...“ Я не дитя и уж тем более не игрище... Больше не потерплю от тебя унижений... Я возгнушаюсь...» — раздражился Гореликов.

— Отнял время, говорите... — порвал молчание учитель, даже не пытаясь скрыть этого своего крайнего раздражения. — Видите, вы и сами все знаете... Прощайте! А впрочем, раз следствие закончено, объясните, из-за чего же умер Владимир Необходимович?

— Он прожил жизнь.
— И это все объяснение?
— А чего вы ждали?
— Чего ждал? Вашей рассудочной математики, ваших псевдофизических конвенций...
— Не надо, не суесловьте... *Medias in res*... прямо к делу...
— Ну что ж, вам виднее!— Алексей Алексеевич провел ладонью по бумвинилу обложки, точно привыкая к тому, что это он теперь обладатель дневника, поворотился от следователя, как от бывшего знакомого, и вышел из кабинета все тем же взлетающим шагом...

Часы показывали страшный час.

«Проклятый месяц нисан, — ежился Сущий, — проклятое время...»

Он ехал к таунхаусу, засыпающему в глубине соснового бора и аттической ночи... Гремел пустой, ныряющий трамвай с синеватыми окнами. И вдруг Сущий увидел в ближайшем окне... О, нет, не земное и изменчивое лицо Волчишки, а светonosный и преобразенный лик Донны... Маши, Марии... Отмыть воспоминания не удавалось... За чем он ехал — то ли наслаждаться весной, то ли птиц слушать, то ли чего-то мучительно ждать — он не знал... «А может, все для того, чтобы, „блуждая в темном тумане своей души“, избавиться от засевшей там тоски... И вообще, найти ее, душу... Но возможно ли? Кто узнает? Кто скажет?»

Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит:
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?»

Сущий пожевал губами и, приникнув к синеватому трамвайному окну, затих.